

Игорь СИЛАНТЬЕВ

Игорь Силантьев родился в 1960 г., живет в Новосибирске. Доктор филологических наук, профессор, главный редактор журналов «Критика и семиотика» и «Сибирский филологический журнал». Стихи и проза публиковались в журналах «Звезда», «Крещатик», «Просодия», «Футурум Арт», «Дети Ра», «Двоеточие», «Квадрига Аполлона», «Сибирские Огни» и в различных сборниках и альманахах. Автор четырех книг стихотворений и короткой прозы. Предыдущая публикация в «Волге» – подборка стихотворений «Поеду ли я в Питер...» (2018, № 11-12).

ПАЛЬТО

Рассказ

Фонарь на железнодорожной станции был очень стар. Его почернелое бетонное тело покрывали глубокие трещины, из которых выступала арматура, будто кости. И чтобы усталая плоть фонаря окончательно не распалась, его сверху донизу стянули железными скобами.

Они уже успели заржаветь.

На одной из них, на высоте поднятой руки, висело пальто.

А с утра и весь день густо сыпал дождь, и висевшее пальто, наверно, было самым вымокшим пальто во вселенной.

Рукава его набухли влагой и отвисли. И карманы отвисли и распухли, будто набитые комками газетной бумаги.

Но вместо бумаги там была вода.

Вода просачивалась сквозь темные ткани пальто и веером капель стекала с рукавов и подола на асфальт.

Вечером дождь перестал и задул ледяной ветер. Подбирались ночные заморозки.

Кристаллы льды покрыли асфальт. И фонарь тоже заблестел льдом. И пальто стало не сразу, но ровно замерзать, коробиться и деревенеть в своих складках и отвисших формах, а потом рухнуло вниз. Это наконец лопнула петелька, круглый день жертвенно и бессмысленно удерживавшая пальто на болте, стягивающем фонарную скобу.

Под жидким лучом фонарного света пальто привалилось к столбу будто пьяный прохожий, не справившийся с дорогой и припавший на колени, и опустивший голову, и почти уснувший.

Собственно, и все.

– Да нет же, не все! Афоня, вставай, пьяный дурак, замерзнешь!

Кто это сказал? Привалившийся к столбу бомж Афоня вздрагивает, пытается встать, на коленках отползает от фонаря, наконец привстает – и в зубовном стуке и костном хрусте, в утробном рыке и мычании вразвалку бежит от холода в спасительный, но еще такой далекий люк теплотрассы на пустыре за многоэтажками.

Еще три квартала! Два! Теперь поворот! Д-д-д! Это зубы стучат. Вот он наконец, этот люк, вниз, брык, в теплую вонючую темноту, там Люська дрыхнет на дырявом матрасе. Другой матрас заслоняет трубы. Это важно. Во сне, если привалиться к трубе теплоцентрали, можно получить глубокий ожог.

Афоня, все еще дрожа, приваливается к храпящей Люське и замирает. Пальто и грязное тело в нем медленно наполняются теплом. Пальто! Афоня до сих пор не может поверить в великую удачу. Он нашел это пальто неделю назад, колом застывшее, у фонарного столба на станции. Бомж так и утащил его, обхватив, будто человека, в свое убежище, а потом долго сушил на трубах, а потом примерял это широкое, впору, теплое

пальто с высоким воротником, не дырявое, не гнилое, молью не поеденное, откуда оно взялось там ночью, на улице?

Афоня лежит на спине, согрелся, принял немножко из припрятанной бутылочки и глядит куда-то в темноту. Хорошо и весело ему стало, и поет Афоня в теплую темноту песенку без слов и мелодии, мычит просто. Ммм. Мумм. Умумм. Мумм. Слово кот на батарее центрального отопления.

Тут Люська проснулась было, приподнялась, что-то буркнула и на другой бок завалилась. Хррр.

Люська маленько с приветом, именуется себя Люси и утверждает, что когда-то ее так прозвали битлы, потому что она летала в облаках и вся в бриллиантах. Ох-ох. Люська и Афоня не трахаются. Во-первых, у Афони не встает, а во-вторых, Люське и самой этого не нужно. У них есть общие дела поинтереснее – выпить, потрындеть, задремать в пьяной отключке. Да и на пару шариться по помойкам веселее как-то. Люська и Афоня жизненные друзья.

Афоня дремлет, и в закрытые глаза его и ноздри, в рот и уши легким туманом заползают тонкие сны, не поймешь, о ком они и о чем.

Вот этот сон, наверное, из детства.

Чей это голос? Мама, твой? Маленький Афоня с мамой едут к бабушке куда-то в Сибирь, в деревню какую-то, а по пути сходят в большом городе, потому что обязательно нужно навестить сестру мамы тетю Сороку, и муженька ее дядю Мизгиря, и еще кого-то четвероюродного, и еще разведенную жену кого-то сводного, от которого у нее твой неродной брат Дождевик. Черт, как это, неродной брат?

Есть семьи, в которых царит культ родственников. Мама Афони была из такой семьи и порядок этот старалась распространить и на свою собственную и Афонину жизнь. Куда бы они ни приезжали, когда он был маленький, она всегда находила близких или дальних, ну хоть каких-либо, но родственников, и направлялась к ним в гости и мальчика тащила с собой. Афоня ненавидел эти пустые встречи, наполненные пустыми разговорами.

И полдня добирались они от вокзала до городских окраин, искали в бесконечном частном секторе и наконец нашли домишко этих, которые Сорока и Мизгирь, и Дождевик к ним притопал, и вот теперь сидит маленький Афоня за круглым столом, покрытым вытертой клеенкой, и пьет несладкий чай с двумя высохшими карамельками, а неродной его брат Дождевик ковыряет в носу. А мама и тетя Сорока рассматривают огромный, пахнущий нафталином семейный альбом с пожелтевшими ломкими фотографиями, края которых вставлены в прорези на листах. А дядя Мизгирь сидит рядом, наливает в граненый стакан портвейна, и выпивает залпом, и хлопает Афоню по плечу, и хохочет, и дышит в него вековечным перегаром.

Нет, это Люська снова повернулась к Афоне, это ее перегар обволакивает красное грушевидное лицо Афони.

– Афоне приснилось детство! Ого! А я слышал, что у бомжей не бывает детства!

– Не бывает, да. Бомжи, они самообразуются на мусорных полигонах. Понимаешь ли, мусор там скапливается, спрессовывается, вырастает разными причудливыми кучами. Потом от такой кучи отслаивается приличный кусок такой, с корявыми ногами, нелепым туловищем, неровными руками и дурацкой головой, и шевелится живой. Вот и готов еще один бомж. Сознание в него не сразу приходит, сначала день и ночь по мусорке шарается, как зомби, ворон пугает, а потом, глядишь, пошел-пошел – и человеком стал. Афоня придумал про детство. У бомжей в голове какой мусор был изначально, такие и воспоминания. А если газета или обломок телевизора попадет, то все, туши свет! Умертвит потом рассказами о своем прошлом в шоу-бизнесе и политике.

Опять эти голоса! Афоня слышит их с тех пор, как нашел пальто. Собственно, откуда-то из пальто они и исходят. Не из Афони. Афоня даже пробовал беседовать с ними. Сначала замолкали, а теперь уже отзываются. Сколько их, Афоня пока не разобрал, но немало.

Может, Афоня сошел с ума?

- Афоня, ты не сошел с ума. Сумасшедшие не разговаривают с голосами из пальто.
- Что ли я произошел из мусора?
- Да кто ж тебя знает!
- Но только что кто-то сказал!
- А мы сами, Афоня, не знаем, кто это сказал. Так, пролетела и вылетела душа чья-то.

Не нашла себе места у нас.

- А вы кто?
- Мы потерянные души, Афоня.
- Мы живем в твоём пальто, Афоня.
- Афоня, ты нашел пальто, в котором обитают потерянные души.
- Это дом наш временный, Афоня.
- И ты среди нас один в теле.
- Бедное твоё тело, Афоня.
- Немытое у него тело, ага.
- А нам нет разницы, мытый Афоня или невымытый, вонючий или не очень.
- Мы души, нам все равно.
- И Афоне все равно.
- Потому он уже почти с нами.
- Потому он и слышит нас.
- Нет, Афоня нас слышит, потому что нашел пальто.
- Тсс. Афоня заснул.

Афоня спит и снова вдыхает тонкий сон и видит в нём бабушку, как они вместе кормят травой кроликов в сарайке, а потом бабушка ловит одного, самого ушастого, и ловко так сворачивает ему шею. И тушка кролика обвисает у неё на руках, а мальчик Афоня отворачивается и съезживается. А вечером с бабушкой и пришедшей с работы мамой радостно кушает жаркое с крольчатинной.

- Шурудей, ты Афоне приснился!
- Афоня меня съел, когда маленький был, когда в детстве был. Но я не в обиде.

Нельзя обижаться на Афоню.

- Афоня не был в детстве! Бомжи из детей не получаются!

– Да, мы это знаем. Зимними вечерами падает хлопьями снег на землю и мочалится под ногами прохожих, смешивается с грязью и наледью, сбивается в ком и застывает, а потом, глядишь, зашевелилось в нём что-то, заворочалось, вот как Афоня на матрасе заелозил, а потом откуда-то ножки высунулись и ручки, и вот привстал бомжик и покачнулся, и пошел-пошел и человеком стал. А детство придумал Афоня.

Афоня еще спит и в то же время слышит голоса из пальто. Ему жалко становится Шурудея и стыдно, что он, маленький Афоня, принял участие в поедании кролика.

- Не горюй, Афоня! Шурудей тебя простил.

- А ты кто?

– А я мышка Шебурша, которая жила у тебя в клетке, ты кормил меня просом, и водичкой поил, и убирал за мной. А мне много не нужно, тыкалась носиком туда и сюда, хрумкала зернышки и все время спала.

- А потом?

– А потом ты, глупый Афоня, засунул меня в портфель и понес в школу, девчонок хотел поугагать, а по дороге с пацанами разодрался, и портфелем размахался, и по голове одного хлопнул, и задавил мышку. Задавил Шебуршу.

Афоня просыпается и долго, по крупницам, вспоминает свои сны про кролика и мышку. Ему перестает быть стыдно и перестает быть жалко их. Все это было давно-предавно, а может, вообще этого не было. Ведь сказали же голоса из пальто, что бомжи образуются из мусора, и грязи, и льда, а детства у них нет вообще.

- Из грязи и льда. Поэтому никогда и согреться не могут.

- А ты согрелся, Афоня?

– Я согреюсь, когда выпью, Шебурша.

– Не Шебурша я, а тетка твоя Сорока. Шебурша на тебя не обижается. Она понимает, что Афоня мальчишка был глупый.

– Афоня нечаянно задавил ее, что подделаешь. А потом вытащил мертвенькую из портфеля и за хвостик в девчонок и бросил!

– Ну бросил Афоня, ну что же теперь. Шебурше все равно. А душа ее крохотная в пальто. Вместе с душой Шурудея. Это хорошо.

– И Афоня нашел нас.

– Афоня хороший.

– Дядя Мизгирь, дай Афоне поспать. Не то он проснется, и вспомнит свой сон, и поймет, что придумал себе детство. Бомжи ведь, они сразу на свет появляются, из пыльных тяжелых теней под мостами.

– Как это, брат неродной Дождевик?

– А так, что нет в городе тяжелее пыли, чем под мостами. По ними же все время машины ездят, и люди их топчут, и ветер задувает, еще голуби насиживают и летучие мыши. И вот наступает момент, когда пыльная тень отрывается от земли, прислоняется к опоре моста и долго еще соображает, что к чему и зачем, а потом уже отслаивается и бомжом так пошла-пошла и человеком стала.

Афоня просыпается от вздохов, из пальто исходящих.

– Люська, – пихает Афоня подругу, – послушай, со мной пальто говорит.

– Не буди ее, Афоня. На небесах она бриллианты собирает уже.

Афоне становится все равно, и он отворачивается от Люськи и слушает долгий глухой гул – это через железнодорожную станцию, что невдалеке, проходит товарный поезд. И снова незаметно засыпает.

– Афоне все равно, что он мышку придавил.

– А потом и Дождевика тоже, братца, приколотил.

– Сорока, да не так оно все было. Афоня хороший. Выпивали они в домике нашем, да и мы поучаствовали, а потом старики ушли от них на боковую, а эти двое на кухне бухали до утра.

– Так и было, Мизгирь, а потом наш Афоня Дождевика оглушил, что ли?

– Да нечаянно получилось. Пьяный его толкнул, а тот на газовую печку упал.

– И что?

– И ничего, она выключенная была. А после Афоня во двор побежал. Может, по-маленькому или поблевать.

– А тут этот газ и рванул. Дождевик печку опрокинул, когда падал, и подводку нарушил, а потом, когда очухался, папироску закурил, ну и вот.

– И не стало Дождевика. И нас не стало тоже.

– А Афоня наш спасся на улице, только память немного потерял. Он детства не помнит. Поэтому Люське говорит, что у него не было детства, а получился он из мусора, из грязи и льда, а еще из дорожной пыли, что под мостами слоится.

– А на самом деле?

– Ты бы, Дождевик, у мамы его и спросил, она тоже ведь здесь, душа ее, и бабушкина тоже, в пальто.

Афоня это слышит и смеется беззвучно. Он достал из записки бутылёчек, пока Люська бриллианты собирает, и принял, ну и весело ему.

А еще ему весело, что в пальто его живут такие разные души, и мамы и бабушки, и тети Сороки и дяди Мизгирия, и братца неродного Дождевика, только почему он, в конце-то концов, Дождевик, гриб, что ли? А еще кролика Шурудея с мышкой Шебуршой такие крохотные души и смешные. И смеется Афоня.

– Мама, бабушка, бросил я вас, забыл я про вас, даже где вы живете забыл, все забыл, и пьяницей стал я и бомжиком. А вы потом умерли из-за меня.

– Мы от старости умерли, Афоня. А ты хороший, но пьяница стал. Вот и бабушка плачет.

– Я не плачу, я улыбаюсь.

– Мы улыбаемся, Афоня.

– Не грусти ты, Афоня, а выпей еще.

– Тут Дождевик все про детство спрашивал, а что оно, детство? Не было у Афони детства. Бабушка поливала горшок с геранью, и вода протекла с подоконника на пол, а стала бабушка вытирать, тряпкой по подоконнику елозить и уронила на пол горшок, цветов с корнями в одну сторону, а земля в другую комками. Один комочек и откатился в уголок, полежал там незаметный лет пятьдесят, не меньше, а потом зашевелилось в нем что-то, заворочалось, и откуда-то ножки повысунулись и ручки, и привстал уже бомжик, покачнувшись, и пошел-пошел и человечком стал. А мы с бабушкой умерли.

– Афоня хороший.

Вот и Люська так говорит, думает Афоня. Он силится и не может вспомнить лица мамы и бабушки.

– А были ли они? – думает Афоня.

Но голоса он помнит. Значит, были. И души, которые в пальто у Афони, говорят их голосами. Были, значит.

– Дядя Мизгирь, тетя Сорока, мама и бабушка, и брат неродной Дождевик, а еще мышка Шебурша, что жила у Афони в клетке, и кролик Шурудей, которого Афоня съел, вы не сердитесь на бомжика, погрейте его лучше в своем пальто, убаюкайте тихими голосами, пусть заснет Афоня, до утра еще далеко.

А тут Люська проснулась, пошарила руками, наткнулась на Афоню и протянула ему что-то пригоршней:

– Держи.

Афоня не ухватил, и на пальто просыпались с хрустальным звоном какие-то, что-то...

– Мизгирь, погляди, бриллианты!

Это тетя Сорока, это голос ее из пальто воскликнул.

– Сорока, да где?

– Мы никогда не видели бриллиантов! – оживились Шурудей и Шебурша.

– Эти стеклышки, что ли? – спросил неродной брат Дождевик.

– Мама, бабушка, это Люська бриллианты принесла, на небесах собирала.

А в темноте ничего и не видно. Что-то хрусткое. Афоня попробовал на зуб – вроде бы стекло. Так с бриллиантами и заснул до утра.

– А утром?

А утром проснулись Афоня и Люська, и нет бриллиантов, стеклышки бутылочные битые валяются вокруг. И солнышко сквозь крышку люка пробивается и в стеклышках играет. Красиво. Разницы никакой.

– Слышь, Люська, красивые твои бриллианты! – говорит ей Афоня, и жизненные друзья отправляются в привычный обход по помойкам, по мусоркам и по магазинам, а еще на автовокзал нужно заглянуть и у церкви потолкаться, авось сердобольные прихожане дадут три копейки.

И сидит бомж Афоня у паперти в пальто. А пальто-то приличное, хоть и замызганное уже и вонючее стало, но все равно держит статью.

И мы, мы тоже, потерянные души, сидим мы тихонько в пальто, как воробы в кусту, и глядим по сторонам.

А тут Афоне один мужик дает тысячу рублей, просто так. С усиками и в очках, а глазенки безумные.

– А-а, командир, благодарствую! – вне себя от изумления восклицает Афоня, а мужика уже и нет, испарился, исчез он. Только что рядом стоял, а как Афоня глаза-то отнял от тысячерублевки, то мужика-то и нет нигде. И души потерянные тоже ничего не поняли. Где мужик-то? С усиками и в очках?

А тысячерублевка осталась!

Кликнул Афоня подругу свою жизненную Люську, и прикупили на радости великой они водки бутылочку, и сладкого винца, и пивка полторашечку, и все это за гаражами сразу выжрали, а потом веселенькие к теплотрассе побрели через железнодорожную станцию.

Афоня хохочет и, путаясь, рассказывает Люське про голоса, которые в пальто его живут, и Люська хохочет, потому что не верит. А потом уже верит. А потом снова не верит и снова хохочет.

Вот и станция. И лезут веселые и пьяные прямо на пути с высокого перрона, и валятся на шпалы. Голоса живут в пальто, ха-ха-ха!

И луч высокий ударяет им – нет, не в глаза и не в лицо, а прямо в замусоленные их души, откуда-то будто бы с неба. И крики: «Эй, вы, вылезьте, эй, вы, побыстрее!»

Так и задавил Афоню пьяного поезд. Они с Люськой полезли на пути перед проходящим грузовым. Афоня успел вытолкать жизненную подругу, а сам, значит, того.

Афоня хороший.

Афоня мертвый.

Страшно туда, на пути смотреть. Железнодорожники называют такое шаурмой. А потом Афоня встает, и озирается, и слышит:

– Вот ты, Афоня, и пришел к нам, к потерянным душам.

– Потерянным? Кто вас потерял?

– Ты потерял, Афоня. А теперь вот нашел. И твоя душа теперь вместе с нами в пальто.

Какие-то специальные работники убрали все с путей, а пальто окровавленное, растерзанное на перрон бросили. А душа Афолина в пальто!

И черной птицей с красными от крови, порванными рукавами-крыльями взмывает пальто над землей, отряхивает мусор, и грязь, и лед, и пыль дорожную, что под мостами слоится, и светлеет, и в птицу превращается, и улетает.

– Люси, представь, что ты в поезде едешь, а он остановился на станции, вот здесь. Это значит, что ты едешь и не едешь одновременно, и стоишь тут на месте, а потом выбегаешь на перрон и засматриваешься на улетающую птицу, а ночь сменяется днем, и девочка Люси с разноцветными глазами бежит за птицей, а голова ее в облаках.

И Люська пьянущая лежит на перроне под старым, под старым фонарем, да-да, по тем самым почернелым фонарем, стянутым железными скобами, и смеется пьянущая Люська небесам, а голова ее в облаках, и сыплется на нее бриллианты. Или дождь это густо посыпал, и капли искрятся в свете фонарном, не разобрать.